

БЕЗДОМНАЯ МОЯ КОШКА

В тот день я проснулся и машинально посмотрел в окно, чтобы понять, который час. Окно едва серело безрадостным дождливым утром, этот серый тусклый свет мог означать и семь, и десять часов, впрочем, мне было все равно, на работу не спешить.

— Опять, — с тоской подумал я, — опять об одном и том же. Так нельзя.

Нельзя, конечно, но отказаться от унылой череды безрадостных мыслей, привычных до тошноты, нет сил. Я прищурился, пытаясь разглядеть на полке стоящего напротив книжного шкафа ромбик дешевого китайского будильника. И сел от удивления на постели. Утро и впрямь оказалось ранним — пять минут седьмого. Что же могло вытащить меня из кошмарных закоулков сна в такую рань? Я снова плюхнулся на подушку, закутываясь в одеяло, в минутной надежде нырнуть в сладкий утренний сон, как бывало в детстве — чтобы урвать перед школой десять-пятнадцать минут фантастически чудесных грез. Но робко наплывающая волна дремы вдруг рассыпалась, едва оросив мой воспаленный мозг.

Я снова вскочил. Нет, никаких сомнений, это опять она. Я подошел к балконной двери, поджимая от холода пальцы ног. Щелкнул шпингалетами, дернул ручку и впустил в прокуренную комнату сырую прохладу сентябрьского утра. На мокром асфальте, покрывавшем балконную плиту, сидела, прижав уши, черная кошка. Увидев меня, она жалобно вякнула, но с места не двинулась. Я привычно подхватил ее под обвислый живот и в три шага оказался в прихожей. Держа одной рукой кошку, открыл другой входную дверь, поставил животное на грязный кафель перед дверью, мельком провел ладонью по мокрой спине, тут же выгнувшейся навстречу ласке, и закрыл дверь.

Если открыть дверь снова, кошки уже не будет — проверено. И сегодня она уже не придет. Не придет и завтра, и послезавтра. Она появится совсем неожиданно, в очередное тошнотворное утро, чтобы лишить меня сна не только на этот, но и на ближайšie два — три дня. Сна, единственного моего утешения в последние полгода, последнего, что связывает меня с детством, с мамой, с восхитительным ощущением счастья, сиюминутного, но оттого не менее полного.

Я потащился на кухню, сел на табурет, ощутив сквозь тонкую ткань трусов холодок пластика. Огляделся с безнадежностью. Утром кухня одинокого холостяка — это самое отвратительное зрелище, хуже только лицо опухшего с похмелья бомжа. Тарелки с разводами запекшегося как кровь кетчупа, огрызки и крошки на столе, в мойке кастрюля с пригоревшими макаронами, на плите полная окурков консервная банка, отравляющая своей вонью все вокруг. Если к этому прибавить коричне-

вые от табачного дыма занавески, жирную пыль на кухонных полках, на стенах, на всем — картина будет полная.

Бабы обожают отмывать такие кухни, тайно млея от надежды стать здесь полноправной хозяйкой. Девчонки морщат нос, но начинают жалеть той сладостной бабьей жалостью, которая есть в каждой, самой испорченной лолитке. Или почти в каждой.

Но я уже месяца два как не пускаю в свою кухню ни одну бабу, ни одну девчонку, потому что и это лекарство обернулось отравой, почище наркоты. Ломка такая идет после всего этого, что пришлось спрятать все веревки, а кухонное окно забить парой гвоздей — с маху не откроешь, а пока отвертку или клещи ищешь, охота выпрыгивать из окна пропадает.

Я потянул свои худые длинные ноги, оперся пятками в табуретку, а подбородок спрятал в теплые колени. Щетина колет, но если забыть про нее, закрыть глаза и покачаться на табуретке взад-вперед, то на секунду может показаться, что тебе опять десять лет, мама жарит оладушки, а кухню уже наполнил сытный дух какао с молоком. Я потянул носом, и меня передернуло от кислонюющего запаха консервной банки — пепельницы.

При маме я дома не курил, пил только пиво, а про наркоту не было и речи. Все было на стороне, у друзей, на улице, на даче у кого-нибудь. Нет, не потому, что я боялся, не боялся я мамы и маменькиным сынком не был. И мог прийти домой еле живым от выпитого и выкуренного, мог даже девочку с собой на ночь привести, что порой и делал. Но я боялся, что если влущу в дом весь этот суматошный безалаберный мир своей юности, он разрушится, а свой дом, свою маму я любил и люблю больше всего на свете.

Мамы нет уже два года, и квартира медленно, но верно потеряла остатки уюта, который она так умела наводить. В ее комнату я просто стараюсь не заходить, даже занавески не раздвигаю, и любопытным бабенкам после попытки повертеть тут носиком приходилось сматывать удочки и в два часа ночи, если я их заставал за этим занятием. А в моей комнате, на кухне, в туалете поселился унылый холостяцкий бардак, который раз в полгода разгребают две мамы подруги, приходящие ко мне в гости помянуть маму, папу и проверить — жив ли я еще? Спасибо им, без их ненавязчивого, терпеливого сочувствия я давно бы уже выпрыгнул из окна, и гвозди не помогли бы.

И еще вот эта кошка. Я не знаю, где она живет, откуда приходит, но вот уже два года как она появляется неожиданно на моем балконе, тихо, но настойчиво вякает до тех пор, пока я не открою балконную дверь, бежит в прихожую и начинает вякать уже под входной дверью.

Когда она появилась первый раз, через неделю после маминых похорон, я был изумлен, но не больше. В тот раз она, подняв хвост трубой, ринулась на кухню и завертелась возле плиты. Я кинул ей кусок колбасы, спешно отрезав от батона, забытого вечером на столе. Но кошка, вскользя нюхнув колбасу, вдруг кинулась в прихожую. Пришлось ее выпустить, но тогда я просто подумал, что это одна из тех бесконечных дворовых кошек, которых мама всю жизнь жалела и подкармливала. Она обожала кошек, считала их самыми разумными существами, но не могла завести дома, потому что у меня в детстве была на них жуткая аллергия. Мне было достаточно взять кошку на руки, и через полчаса, максимум через час начинался насморк и тяжелый астматический кашель, который снимался только глотком противоаллергического аэрозоля.

Вполне возможно, что мама принимала эту кошку, когда меня не было дома, поэтому я о ней ничего и не знал. Но в то раннее утро я впервые потерял сон, и два часа как идиот слонялся по квартире, вспоминая прошлое. К вечеру я, правда, забыл эту кошку, вернее, выкинул из головы. До следующего раза, когда она вновь очутилась на балконе. Вот тогда я не на шутку испугался, мне пришла в голову сумасшедшая мысль, что кошка

приходит за мной, чтобы увести к маме. Сначала я попытался справиться с этой дурацкой мыслью сам, когда не получилось, рассказал как анекдот случайно забежавшему дружку за бутылкой водки. Дружок шутку не оценил, посмотрел на меня долгим пьяным взглядом и твердо произнес:

— А ты зря смеешься. Вот ты думаешь, она дура твоя кошка, чтобы просто так по трубам на второй этаж к тебе лазить? У тебя, небось, даже молока дома нет, а она лезет. Значит, что-то ей надо тут.

— Постой, причем здесь молоко, — опешил я тогда.

— Притом, что вонючей колбасы она в помойке и без тебя найдет сколько хочешь.

Тогда я замаял неприятный разговор предложением о новой бутылке, что на моего Пашу всегда действовало безотказно. Но и Паша со временем стал забегать ко мне только для того, чтобы занять на выпивку, а распивать предпочитал где-нибудь в другом месте. Я не обижался и даже облегченно вздохнул, потому что с Пашей выпивать можно лишь с большой тоски, с безнадежной. А я в то время хоть и мучился внезапно охватившим меня одиночеством, но так, по-звериному, еще не тосковал. Зато теперь Паша не ходит, потому что размер неотданного им долга перекрыл даже его, Пашино, понятие о чести, которую пора знать.

Может быть, дело впрямь в молоке, обрадовался я тогда. Даже купил пару раз пакет молока, которое потом пришлось выкинуть. Потому что эта кошка стала приходить ко мне на балкон по какому-то одной ей известному графику. Вроде бы я мог и привыкнуть к ее посещениям. Но нет, каждый раз ее приход охватывал меня мистическим ужасом, лишал сна и заставлял вспоминать одно и то же. Я и сейчас начал вспоминать.

А чтобы вспоминать было не так мучительно, я сполз с табуретки, подошел к подоконнику и достал из полупустой пачки сигарету. Глянул привычно во двор через бетонный козырек подъезда, висящий прямо под окном моей кухни. Окно нашей кухни имеет стратегическое положение. Так всегда говорила мама. Для нее, стратега участкового масштаба, оно и впрямь было чем-то вроде капитанского мостика. Из этого окна вся жизнь нашего длинного, как больничных коридор, двора как на ладони. Но маму меньше всего интересовали пьяные разборки соседей или вечерние променады бабушек. Отсюда она видела, как к ней, именно к ней бежала впопыхах какая-нибудь мамаша, уже поглядывая на знакомое окно, и мама шла ко входной двери, не дожидаясь звонка.

Моя мама всю жизнь проработала участковым педиатром в нашей районной поликлинике и всю жизнь (так она говорила) прожила в этом доме. На самом деле квартиру они с отцом получили как молодые специалисты через год после окончания института, и мы переехали сюда из заводского общежития. Вот я точно всю жизнь здесь прожил за вычетом первого общежитского года, но, подумал я вдруг, может быть для мамы это и было всей ее жизнью? До этого был институт, до института было детство в тихом провинциальном городке, где и сейчас живут мои многочисленные и теперь очень далекие родственники. Может быть, мама все это воспринимала лишь как предысторию своей жизни? Как дописьменный период мировой истории? Эх меня мотнуло, аж вспомнил, чему в институте учился. Впрочем, мой институт — это точно моя предыстория, как я сейчас понимаю. В институте я был безмозглым жизнерадостным бычком, весело взбрыкивающим на цветущем луку жизни.

Я невольно усмехнулся. В семь часов утра еще и не такие литературности в голову полезут. А если серьезно, то к маме прибегало чуть не полрайона. Сначала ее ровесницы, такие же молодые мамаша, потом их подросшие дочери, потом, в последние годы, уже и пара «внучек» приходила. Для нашей семьи это было естественным фоном жизни, поэтому не раздражало. Ходят за советом — значит, так и надо. После смерти мамы все разом оборвалось, чем еще жестче подчеркнуло тяжесть утраты. И не здороваются теперь на улице со мной незнакомые люди, вспоминая, что я — сын «той самой Клары Сергеевны».

Мама знала, лично или вприглядку, чуть не весь наш район и еще по полрайона соседних. На моей жизненной карьере, как и на благосостоянии семьи, все эти многочисленные знакомства никак не сказывались. Отчасти потому, что живем мы в сугубо рабочем районе, и самое большее, чем могли отблагодарить маму — принести курицу, стыдливо завернутую в тряпичную сумку, или коробку дешевых конфет «Метеор». Кур она со смехом возвращала, а конфеты иногда брала, чтобы тут же позвать на чай из соседнего кабинета подругу и такую же вечную участковую Нину Петровну. Домой конфеты не носились по той же причине, что и не заводились кошки, а еще потому, что сладкое — роскошь, а роскоши мама не любила. Тут у них с папой было полное единство мнений, и я вырос в твердом убеждении, что всего надо добиваться личным трудом, а трудом праведным не наживешь палат каменных. Маминых убеждений не поколебали даже крутые перемены последних лет. Она любила говаривать, что заблуждения как поветрия, проходят, а детей в муках как рожали, так и будут рожать. Следовательно, жизнь — труд тяжелый и неблагодарный. Но необходимый.

К чему я вспомнил, что мама знала всех в нашем районе? Докуренная до фильтра сигарета полетела в форточку, но я не торопился уходить от окна. Вот к чему. На следующее утро после того, как я привел ту девочку, мама осторожно (она всегда была очень деликатна, боясь меня оскорбить и тем самым потерять мое доверие) сказала, прикрыв поплотнее дверь на кухне:

— Кажется, она не из нашего района. Я никак не могу вспомнить, видела ли я эту девочку.

— Мама, ты видела ее впервые вчера вечером ровно полминуты, отдавая чистое полотенце. И вряд ли вообще увидишь снова, — ответил я тогда.

Мама промолчала, потому что повторять об опасности случайных связей взрослому сыну считала бестактностью, хотя, конечно, переживала за меня очень. И пару раз в год, тоже очень тактично, уговаривала сходить к ее знакомому венерологу. Я послушно ходил, отчасти чтобы успокоить ее, отчасти для себя, потому что, как всякое «медицинское» дитя, страдаю обостренной брезгливостью. Даже последние месяцы, находясь в глубокой депрессии, я не мог притащить с улицы незнакомую бабу на ночь или распивать из одной бутылки с божьем.

Брезгливость спасла меня от наркотиков, дальше «баловства» дело не пошло, она же заставляла выбирать работу, так, я не смог подрабатывать на городских рынках и предпочел махать метлой, что сегодня не приносит даже морального «диссидентского» удовлетворения.

Случайных в полном смысле слова связей у меня никогда и не было, подруги находились в нашей компании или на работе (я, между прочим, не всегда метлой махал, был и учителем, и журналистом), или среди подруг моих одноклассниц и однокурсниц.

В общем, у мягкого интеллигентного мальчика с приятными манерами проблем с личной жизнью не было, тут я как-то в привычную литературную схему не вписывался. Бабником себя не считал, спорта из этого не делал, не был ни наглым, ни неразборчивым. Но с Катей этой прокол у меня вышел страшный.

Да, началась вся эта история тихим теплым сентябрьским вечером, как помнится. И закончилась в сентябре. Я поежился, отходя от форточки, мурашки покрыли голую грудь и плечи. Чтобы согреться, я подошел к мойке, отвернул кран с горячей водой, подставил пальцы под струю. Мгновенного тепла я не почувствовал, по опыту знаю, что вода будет сливаться минуты две. А пока можно наполнить водой засохшие тарелки, да смахнуть со стола мусор в переполненное помойное ведро.

Вот уже год в те дни, когда ко мне приходила кошка, я не только терял сон, но и начинал уборку. Первые движения давались с огромным трудом, даже с какой-то болью, почти физической. Но, увлекшись, да

за воспоминаниями, я наводил такую чистоту, что сам потом несколько дней удивлялся.

Чистота лечит. Порядок умиротворяет душу. У нас в доме никогда не было роскоши, родители настороженно относились к покупке новых вещей, жили-то по средствам весьма умеренным. Но уж если вещь попала в дом, то ей находилось место раз и навсегда, и она использовалась, что называется, два-три срока. Отсутствие новых вещей, их блеска и праздничности компенсировалось чистотой и порядком, отношение к которым было поистине религиозным. «Чистота — роскошь бедных», — любила говаривать мама. Тогда я не очень понимал эти слова, теперь неожиданно постигаю их глубинный смысл.

Когда вокруг нас началась эта вакханалия с покупкой вещей, когда одуревшие соотечественники сметали с прилавков все новые и новые импортные товары, в нашей семье ничего не изменилось. Я, кстати, тогда, пять лет назад, неплохо зарабатывал. Но мама, взяв некий условленный минимум на хозяйственные расходы, мягко говорила мне:

— Потрать деньги на себя. Ты молод, а молодость проходит быстро.

Вообще, мамина способность говорить прописные истины с мягкой мудростью, отчего они становились не такими банальными, меня всегда удивляла, а моих друзей приводила в полный восторг. Мама была самым близким другом всех моих друзей с пеленок, и тогда это было таким же непреложным фактом, как белый халат, висевший на специальном крючке за дверью ее комнаты. Но иногда я смеялся, ведь я уже почитывал Хайдегера, спорил с друзьями о Сартре, пытался даже заглянуть во Флоренского. А мама, выслушав мои длинные патетические речи, спокойно резюмировала:

— Все это хорошо, сынок, но и прописные истины кто-то должен повторять, и лучше, если это будет мать. Тогда появится шанс усвоить их вовремя. Дело в том, сын, что со времен Адама люди появлялись на свет одним и весьма болезненным способом. Да и смерть, если разобраться, тоже не отличается разнообразием в смысле ощущений.

Меня иногда раздражала эта мамина уверенность в непреложности ее истин. Я пытался спорить, чаще мысленно, так было проще опровергать их железобетонную непреложность, да и в молодости кажутся равно далекими как момент рождения, так и момент смерти. Но я не мог не признавать за мамой ее правоту, вспоминая ее же рассказы из личной практики. Эти рассказы тоже были фоном жизни с детства.

Наконец пошла теплая вода. Пальцы согрелись, я загрел посудой. И вдруг поймал себя на мысли, что старательно оттягиваю в привычной цепи воспоминаний момент, связанный с появлением в моей жизни Кати. Все эти глубокомысленные рассуждения есть не что иное, как попытка не думать о ней. Это что-то новенькое. Раньше с болезненным вниманием я смаковал все подробности ее появлений и исчезновений, пытался все что-то понять. Она так же пугала меня и так же интриговала, как эта черная кошка.

Меня вдруг пронзило, да так, будто я обжегся внезапно полившимся кипятком. Точно, ведь есть что-то общее между той девчонкой и этой черной кошкой! Пытаясь проглотить подскочившее к горлу сердце, я вывернул кран и теперь уже вполне реально обжег руку тугой струей кипятка. Ругнувшись, я крутанул ручку обратно, и звук собственного голоса вернул меня к реальности. И даже успокоил. Поэтому я теперь уже сознательно вслух произнес:

— Так-так, дружок, давай разберемся. Значит, говоришь, она похожа на эту бездомную кошку? Конечно, похожа. Также приходила когда хотела, только не по утрам, а по вечерам. Катя, Катерина, Кэт. Кошка.

Говорить вслух с самим собой оказалось трудно. Меня охватил внезапный страх, что вот, готово, я начинаю сходиться с ума. Чтобы убедиться в собственной вменяемости, я ринулся в прихожую к зеркалу. Из потемневшей и местами осыпавшейся амальгамы на меня глянула хоть

и вызерошенная, но моя родная личность. Тогда еще не все потеряно. Я могу продолжать, только теперь, пожалуй, перейду на более привычный внутренний монолог. А попутно поставлю чайник на плиту.

Чайник у нас тоже древний. Покрытый темно-зеленой эмалью, с широким дном и изогнутым носиком, едва пропускающим струйку воды из-за накипи. Он был чуть ли не первым семейным приобретением, памятью о начале семейной жизни — «этой эре». То ли вещи в те, почти библейские, годы делали на совесть, то ли мамина аккуратность сберегла, но не было на его боках ни одного скола, а накипь выросла в чайнике уже после. Я все пытался как-то бороться с ней, но плотный рыжий налет затягивал голубоватую эмаль изнутри так же неотвратимо, как неотвратимо дичал и рассыпался без мамы мой дом. Я не знал маминых секретов домоводства, хотя, скорее всего, они были так же просты и вечны, как ее нехитрые житейские истины.

А про девочку мама угадала, она оказалась не только не из нашего района, но даже и не из нашего города.

Мы гуляли в тот вечер большой компанией по набережной, отмечая чей-то день рождения, и решили остаток вечера провести за пластиковыми столиками возле киоска. Это теперь все более или менее людные места в городе заполнены столиками уличных кафе. На заре российского капитализма после заката социализма эти разноцветные пластмассовые тараканы с зонтиками только поползли по тротуарам, кучкуясь вокруг вагончиков с неизменным кубиком усилителя на крыше. Вагончик был увешан лампочками на грубом крученном проводе или освещался прожектором, установленным в углу на крыше, из усилителя вздохнул орала попса впережку с блатняком, а в окошко подавали пластиковые стаканы с вином и водкой и пластиковые же тарелочки с парой крабовых палочек и горкой мокрой капусты. Крабовые палочки продавались и поштучно — для тех, у кого уже не хватало денег на «салат».

Смешно вспоминать, но тогда мы подолгу смаковали вкус этих оранжево-белых палочек, с вождением разворачивая белесую пленку, в которую они были запакованы, и нам этот синтетический вкус казался символом деликатесного, роскошного мира, совершенно непохожего на весь наш «совок». Кто бы мог подумать, что спустя всего пять лет я буду безуспешно искать по всем прилавкам города сардельки, обычные толстые сардельки в пленке из кишок, а не в целлофане. Те самые, что лопаются в кипятке, выпуская жирный сок и благоухая сытным духом на всю кухню, на весь подъезд, на весь город!

Заря капитализма она и есть заря. На заре ведь все растворяется в тумане, та же кошка может показаться невиданным зверем, что уж говорить о незнакомых вещах. Мы были молоды, страна кипела от митингов, журналисты всех мастей упивались своей «четвертой» властью, появлялось много, очень много нового. Только мама, по вечерам подсев к столу, иногда осторожно спрашивала, непрерывно смахивая со стола несуществующие крошки:

— Сынок, ты думаешь, все к лучшему? Ты только не подумай, что я против обновления, обновление нужно. Даже организм не может без постоянного обновления клеток нормально жить, но... не слишком ли все это так... резко?

— Революция, мать, вообще штука резкая, — отвечал я, уминая поздний ужин.

— Ты думаешь, это она, революция? — пугалась мама, и я с изумлением замечал на ее волевом лице несвойственное ему выражение страха.

— Что тебя так пугает? Революция всегда несет обществу множество судьбоносных перемен. Обидно только, что эти трусы демократы не хотят назвать все своими именами. Это потому что само слово «революция» так затерли, что его теперь любой нормальный человек боится. Слошные англицизмы и эвфемизмы, туда их в качель!

Это я садился на любимого конька, и мама мягко перебивала меня, переводя разговор на мою личную жизнь, друзей и виды на работу. Но однажды она не стала перебивать, а дослушала до конца мою восторженную и запутанную речь, а потом сказала:

— Знаешь, у меня последнее время какое-то странное ощущение. Мне кажется, что все вокруг рушится со страшным грохотом, я даже как будто слышу звук этого грохота, но как-то отдаленно. Иду по улице, дома оглядываю — вроде бы все на месте. Люди ходят. Машины едут. А я слышу этот грохот. Сын, неужели вот так и происходит смена эпох? Ведь ты подумай, сколько всего рухнуло, ведь и моя жизнь рухнула, вся, до последнего кирпичика. Я взялась Толстого перечитывать, «Хождение по мукам». Если, как ты говоришь, это революция, то я теперь понимаю тех, кто остался в прошлом в ту революцию, Октябрьскую. Только теперь понимаю, а всю жизнь не понимала трагедии этих людей.

Мама смотрела на меня каким-то странным, очень открытым, очень беззащитным взглядом, и я с болью вдруг заметил и ее выцветшие глаза, и все морщинки ее немолодого лица. И очень испугался. На меня вдруг как будто ледяным сквозняком повеяло, как из пещеры ранней весной, или из погребца. Везде трава пробивается, а там лед под землей могилой дышит. Но мама тоже этот мой страх почувствовала и улыбнулась.

— Прости, сынок, я что-то не то говорю. Устала, прибалываю, отца вот опять сегодня вспоминала. Пойдем спать, время позднее, ведьмин час идет.

Тогда я, конечно, просто смалодушничал. Летел вперед, но при этом хотел, чтобы под ногами оставалась твердая земля, чтобы не было никаких колебаний и уж тем более землетрясений. Мама была той твердой землей, материком, незыблемым в любых катаклизмах, и она материнским чутьем поняла это, остановилась, не решилась тревожить мою очумевшую от радостных предчувствий голову своими тяжелыми и горькими раздумьями.

А ведь я был единственным родным ей человеком после смерти отца, и это была едва ли не последняя попытка поделиться с родным человеком тем, что в душе творится. Будучи сдержанной по природе и по воспитанию, мама не позволяла себе откровенничать ни с кем кроме отца, да еще со своими двумя подругами студенческих лет. Теми самыми, что приходят теперь ко мне два раза в год. Зная тайны многих семей и выслушивая сотни исповедей, она берегла их как свои, и, возможно, груз этой ответственности заставлял ее и свой внутренний мир прятать поглубже от постороннего взгляда.

Наверное, отсюда и ее деликатность происходила. Она по опыту знала, что человек расскажет всю подноготную, если почувствует потребность. А если ты из него вытянешь откровенность, пользуясь моментом слабости душевной или физической, то он тебе этого никогда не забудет, не простит. Мне она это постоянно твердила, особенно часто с тех пор, как я стал журналистом. Я любил по вечерам рассказывать ей все, что видел и слышал за день, а видел и слышал я тогда много, и мне казалось, что я нахожусь в гуще событий, что понимаю все лучше многих и могу все всем объяснить.

Да, в тот вечер мы, как всегда, сидели за столиками уличного кафе на Верхневолжской набережной, вечер был теплым и тихим, и звезды, в полном соответствии с традициями бабьего лета, щедро мерцали нашему полупьяному веселью и шумной болтовне. Кто-то предложил потанцевать под мелодию знакомого шлягера, мы повскакивали, вывалили гурьбой на дорогу, растасовались на пары. И вот этого момента, когда Катя очутилась в моих объятиях, я и тогда не уловил, да и потом не мог толком восстановить в памяти. Я был уже пьян тем радостным и необременительным пьянством, которое случается только в молодости, оно туманит голову и проходит наутро без следа, оставляя легкие воспоминания и желание жить дальше. Тогда я просто обнял легкую фи-

гурку, уткнулся носом в пышные волосы, потому что девочка оказалась намного ниже меня ростом, а она так доверчиво положила голову мне на плечо, как будто мы уже признались друг другу в любви. Тогда-то я и удивился. Удивился, потому что терпеть не могу панибратства, людей держу на расстоянии, а с женщинами, даже с теми, которые побывали со мной в постели, сохраняю ироническую дистанцию. Дистанция, интуитивно выбранная мной как форма самозащиты, спасала от тех безобразных сцен, которыми часто разрешаются отыгравшие романы. Я мило расставался, а все слезы, истерики и прочее происходило где-то там, за горизонтом, порой доносясь до меня в разговорах знакомых как отголоски летней грозы. И если отголосок доносила подруга потерпевшей, мне достаточно было приобнять ее и, честно глядя в глаза, сказать:

— Знаешь, я очень расстроен, но что мы можем сделать? Пойдем, старушка, попьем пивка. Такое солнце (или «такой гаденький дождик» — реплика находилась по погоде), что просто необходимо побродить и обсудить все эти обстоятельства за бутылочкой хорошего пива.

А назавтра или через месяц мы встречались как ни в чем не бывало с обеими, и жизнь продолжалась, на меня не держали зла, мы оставались друзьями, даже не произнося этой пошлой и сакраментальной фразы.

Так вот, я удивился, и с этого момента помню все отчетливо, как будто нарочно старался все запомнить. Девочка уловила мое движение, подняла голову, пристально глянула в глаза и тоже слегка отстранилась — ровно настолько, чтобы я почувствовал гибкость ее спины под кожаной курточкой. Теперь во мне проснулся охотник, и я играючи притянул крошку к себе, да так, что ощутил ее упругие грудки сквозь все молнии и клепки «косухи». Она поморщилась, уперлась мне в плечи ладошками и сказала спокойно:

— Больно не делай.

— Ой, а разве тебе больно, лапочка? — наклонился я с дурашливым сочувствием, но девушку отпустил, и мы дотанцевали шлягер без приключений. Но, боже, как она была хороша в танце! Она чувствовала ритм, мелодию, мои желания, и подчинялась с необычайной легкостью, отдаваясь танцу и мне, ни на миг не забывая, что ведущий в танце я, мужчина.

Понятно, что к столику я вернулся в обнимку со своей партнершей, усадил ее рядом и протянул пачку сигарет перед тем, как закурить самому. В пьяной компании, твердо усвоил я еще с выпускного школьного вечера, курят почти все женщины. Лучше приятно удивиться отказу, чем неприятно — требованию не забывать дам. При этом всегда можно галантно извиниться, да и умение изящно выбить сигарету из пачки, а потом наклониться, чтобы приблизить огонек зажигалки, помогает дальнейшему развитию событий, особенно в случаях с закомплексованными интеллигентными девочками, с которыми чаще всего мне и приходилось иметь дело.

Девочка продолжала удивлять. Она не взяла сигарету, а протянула тонкие пальцы с ухоженными длинными ногтями к лежавшему на пластиковой тарелочке куску хлеба, взяла его и стала отламывать кусочки, отправляя их в рот нарочито замедленным жестом, мол, не подумайте, что я голодна, просто время коротаю. Скорее всего, мелькнувшая догадка моя была правильной, девочка и впрямь была голодна. Но я этой догадке изумился и не поверил, да и мудрено было поверить, что в современном городе тихим сентябрьским вечером может быть жестоко голодна молодая, модно одетая и, между прочим, с холеными ногтями девушка. Поэтому предположил более вероятное — девушка скучает. На такой случай у меня было несколько проверенных ходов, и я прищурился на перламутровый отблеск лакированных ноготков, выбирая подходящий. В это время слева от нас плюхнулся в пластмассовое кресло мой дружок и с пьяной дурашливой простотой спросил:

— О чем грустишь, подруга? Костя, что девушке голову морочишь, давайте лучше выпьем за нас, молодых!

Дружок разрешил мое минутное замешательство, породив тем самым недоразумение, из которого и родилась наша связь с этой непонятно откуда взявшейся девушкой. Когда бездумно веселый Гоша расплескал по пластиковым стаканчикам остатки красного вина (мы купили пару бутылок настоящей густо-вишневой «Хванчкары», которую тогда еще можно было найти в киосках) и протянул один из них соседке, он предложил:

— Держи, подруга ...

— Меня с утра Катей звали — подсказала она, и Гена практически без паузы продолжил:

— Катя-Катерина, гроза ты моя неотгремевшая.

Мы выпили, я не почувствовал сладко-терпкого вкуса вина и сделал вывод, что уже сильно пьян, отчего где-то на краю сознания появилось облачко беспокойства («до дома, до хаты»). Еще пять минут назад, может быть, чуть больше, я был почти трезв, и вдруг понял, что устал, что вечер затянулся и компания утомляет. Но, похоже, это чувство охватило не только меня, и в нашей счастливой единством компании не нашлось желающих «догоняться», отчего все дружно встали и двинулись шумной толпой по набережной, танцуя посреди дороги, разбиваясь на пары и группы. Я очутился возле Кати и, слегка пошатываясь вокруг ее небольшой ладной фигурки, прикидывал — куда поведу, а в том, что поведу, сомнений не было, хотя мы не сказали друг другу ни слова, не обменялись ни взглядом, не пожали руки. Такие дела не требуют словесного выражения, и я опять восторгнулся невыразимой понятливости партнерши, неторопливо и уверенно идущей по дороге, в то время как я уже дрожал и предвкушал, то касаясь ее бедра, туго обтянутого джинсами, то приобнимая за плечико, помня, впрочем, инцидент во время танца и не переходя незримой черты, жестко обозначенной.

Что-то я плел насчет пушистых волос с нездешним ароматом (которого на самом деле не ощущал), картинно тосковал, интриговал намеками на трудную и опасную профессию, а девушка молчала, и поэтому меня несло легко и жутковато, оставалось лишь задать вопрос: «Куда?», и я его задал, обняв наконец по-настоящему и слегка откидывая назад, чтобы, инстинктивно пытаясь удержаться, она запрокинула голову и открыла для поцелуя лицо. Она и тут не сплеховала, лицо открыла, глянула прямо в глаза, затем, медленно опустив густо накрашенные ресницы, подставила перламутровые губы для поцелуя, оказавшегося на редкость долгим и сладостным. Я готов был на все, потому что так меня раньше не целовали, а сам я, будучи несколько инфантильным в сексе, целовать хоть и умел, но не любил. «Куда?» — повторил я, прижимая ее к себе, и едва не оступился, услышав: «К тебе, конечно». Не успел удивиться и, подхваченный все тем же пьяным восторгом, легко согласился: «Ко мне, ко мне».

В пустом рейсовом автобусе, гремящем от раздражения всеми своими железками, я чуть было не протрезвел, нахмурился, пытаюсь оценить ситуацию, но Катя положила голову мне на плечо (теперь я не отстранился), спрятала лицо, и я чувствовал только ее небольшое, очень стройное и упругое тело, невероятно тонкую талию, и скользил пальцами по ложбинке на спине, прощупывая ее сквозь трикотаж кофточкой (руки я давно и прочно запустил под клепки и кожу «косухи»). Отпускать девушку не хотелось, да и мама не сердилась, если я иногда (не очень часто) приводил кого-нибудь на ночь.

Дома Катя тоже вела себя на редкость тактично, попросилась сразу в ванную, пробыла там не очень долго, подарила час (или больше?) восхитительного секса и свернулась клубочком, уютно притиснувшись ко мне спиной. Ни разговоров, ни надоедливых ласк, когда счастливая новообретенным партнерша все будто пытается прилепить клеймо собственности на твоё тело. А на следующее утро мама, прикрыв поплотнее дверь на кухню, раздумчиво сказала: «Эта девочка не из нашего района».

Катя упорхнула из дома без лишних сантиментов. Вернувшись с кухни, я застал ее уже одевающейся, сказав «привет», она прошмыгнула мимо меня в ванную и через пятнадцать томительных минут (я размышлял, бродя по квартире, что сказать напоследок, чтобы не обидеть, и стоит ли готовить продолжение) вышла оттуда свежая, причесанная и в макияже, щебетнула «пока», сама открыла старый тугой замок на входной двери и

ссыпалась по лестнице, исчезнув за пролетом.

Два дня я находился под впечатлением, которое окрашивало легкой радостью все мое существование, на третий день спросил позвонившего по какому-то делу в редакцию Гошу как можно небрежнее:

— Гоша, а кстати, как там Катя поживает?

— Какая Катя? — опешил друг, и я, уверенный в том, что у Гоши слишком много подруг, чтобы всех сразу вспомнить, да и гуляли мы не накануне, уточнил терпеливо:

— Та Катя, с которой ты познакомил меня два дня назад на набережной.

— Кто, я познакомил? Старик, ты имеешь в виду день рождения Галки? Я был пьян, Костя, но не настолько, чтобы не помнить, кто с кем знакомит. Это ты познакомил меня с этой «косухой», после чего увез ее на автобусе, а мы потом еще часа два тащились вверх по «Свердле» до площади Горького, где, кстати, на нас наехали омоновцы. И мне как самому трезвому пришлось рассаживать народ по «маршруткам». Я, между прочим, пришел домой позавчера в четыре, потому что через мост шел пешком, и хоть бы одна сволочь попалась подвезти! Город как вымер, и я дико замерз, потому что там ветер на мосту насквозь продувает.

Теперь пришла очередь опешить мне. Два дня я пребывал в безмятежной уверенности, что переспал со знакомой Гоше девочкой и намеревался половчее выпросить ее координаты, а выясняется, что Гоша совсем ни при чем.

— Гоша, стоп. Ты уверен, что не знаешь ее?

— В чем сегодня можно быть уверенным? Но, кстати, я был в полной уверенности, что это ты ее привел. Еще удивился — где ты подобрал такую киску, не твое амплуа. И кстати, как она?

— Ничего, — ответил я вяло, слушая в горле свой участвовавший пульс и еще не понимая — испуган я больше или разочарован?

Гоша еще что-то сказал и дал отбой, я уронил трубку на телефон, но сосредоточиться на лежавшей передо мной статьёй уже не мог. Я и так перед тем полтора часа пытался выжать из бесцветного и вялого пресс-релиза сто строк в номер, а теперь понял точно, что редактор от меня сегодня этих строк не дождется. «А, черт с ними», — капитулировал я, схватил куртку и ушел из редакции пить пиво.

...Вымытые тарелки и вилки громоздятся на мокром столе, чайник, как бы примеряясь, несколько раз присвистнул и пустил, наконец, победную струю пара, а я гоняю по стертому линолеуму обгрызенным венником крошки, перемешанные с песком, то и дело задевая ножки табуреток. Начало большой, отработанной годовой привычкой уборки уже взбодрило и воспоминания катятся такой же привычной чередой.

— Да, надо было тогда же все и завязать, — опять (в сотый уже раз) подвел я итог первой серии воспоминаний. Но так же привычно сам с собой поспорил: Нет, не тогда, а чуть позже, после второго раза. И опять задумался — а смог бы после второго раза? До сих пор я так и не понял, смалодушничал я тогда сам перед собой или не очень серьезно к ситуации отнесся, или, как всегда, решил, что само собой рассосется.

Аналогия с кошкой была найдена. Странно, что раньше она не приходила мне в голову, и обе — странная черная кошка и странная девушка в черной кожаной куртке — существовали в моем сознании порознь, раня его каждая по-своему. Я сравнил: да, она поначалу тоже только удивила меня, слегка заинтриговала и забылась, как приятное и немного

досадное недоразумение (не сходить ли к знакомому доктору на всякий случай). Мы с Гошей обсудили при встрече случившееся, посмеялись — и только.

Второй раз я нашел ее дома недели через две, вернувшись как обычно поздно. Мама открыла мне дверь и, здороваясь, тихо сказала:

— Катя пришла, она тебя уже час ждет.

Я возмутился быстрее, чем понял, что за Катя. Но виду не подал, чмокнул маму в щечку, исполняя незыблемый семейный ритуал, не торопясь скинул ботинки и надел тапочки, зашел в ванную, чтобы вымыть руки с мылом (еще один семейный ритуал), и только после этого прошел в свою комнату. Она сидела в моем кресле с ногами и подтачивала пилкой ногти. Увидев меня, неторопливо спрятала пилку в лежавшую на коленях косметичку, грациозно опустила ноги на пол, поздоровалась:

— Привет.

Я еще негодовал, но язвительные слова уже застряли где-то на пути к голосовым связкам, и вместо того, чтобы спросить нарушительницу домашней неприкосновенности о причине появления, я в тон ей ответил:

— Привет.

— Костя, иди ужинать. Катя подождет, я ее накормила.

Ничего себе, подумал я, ее уже накормили, но, вспомнив неистребимую мамину привычку подкармливать бездомных кошек и моих друзей, смирился.

За ужином мама ни о чем не спросила, а я, смущенный внезапным появлением девицы, уже выброшенной из памяти, как выбрасывают использованный автобусный билетик, обдумывал ситуацию и против обыкновения тоже ничего ей не рассказывал.

Вернувшись в комнату, я готовился первым делом выяснить, чего девица от меня хочет. Но не успел. Она встретила меня объятиями и поцелуями, не дала сказать ни слова, и дурак же я был бы, начав выяснять, кто она и откуда, в момент, когда ловкие пальчики уже расстегивали ремень, поцарапывали свежееотточенными ноготками кожу на плечах и... Впрочем, я никогда не любил облекать в словесную форму подробности интимных отношений, давно убедившись в непреодолимой пошлости и грубости языка, превращающего любую, самую осторожную попытку в порнографию либо в медицинское освидетельствование. Зрительный образ куда целомудреннее, точнее и фантазийнее, но и образ, много раз повторенный, несет опасность превращения в порнографию, лишь осязание, самое тонкое и в то же время самое неуловимое и непередаваемое ощущение, может воспроизводить все оттенки любовной игры, возрождаясь в памяти множество раз до тех пор, пока не истончится за давностью лет, подобно листку папиросной бумаги, прикрывающей фотографию в старинном альбоме.

Да, Катя меня покорила. Я ни о чем ее не спрашивал ни тогда, ни потом, хотя в перерывах между ее появлениями в моем доме (она непредсказуемо появлялась по вечерам и исчезала утром) строил предположения на ее счет, пытаюсь угадать или вычислить, кто она, откуда, чем занимается. Я наблюдал за ней, как наблюдают за животным, неожиданно очутившимся в твоём доме, то есть отстраненно и заинтересованно, но она никогда не испытывала смущения под моим изучающим взглядом, скорее наоборот, грелась под ним, как кошка под светом настольной лампы, охорашивалась, потягивалась и, вдруг, наскучив греться, прыгивала мне на колени, брала за уши ладонями и целовала, прикрывая накрашенными ресницами глаза, отчего темно-карие радужки с черными зрачками мерцали таинственно и возбуждающе.

По тому, как густо она красилась, я делал предположение, что, скорее всего, она происходит из обычной рабочей семьи с бабушками и дедушками в деревне, вряд ли имеет полное образование, да и «прикид» подтверждал мою догадку, потому что ей ничего не стоило с фирменны-

ми джинсамы надеть остроносые туфли с нелепым бантом на заднике или на коротенькую юбочку, усыпанную стразами, накинуть любимую «косуху». Пройдя по рядам городской барахолки, я мог бы без труда собрать весь ее нехитрый гардероб, но, Боже мой, как ловко на ней все это сидело! Катя относилась к числу тех редких особей женского пола, которые рождаются с грацией и вкусом принцесс, и порой диву даешься шуткам природы, по непонятной прихоти закидывающей на помойку этаким самородок. Они часто интуитивно чувствуют свою особенность, пытаются выбраться из породившей их, но чуждой среды, и если им этого не удастся, годам к тридцати теряют свой блеск, стираются под неослабеваемым натиском агрессивной среды, рассыпают в заурядных потомках неповторимый набор генов. Если везет, случай, испытав нужду в таких самородках, выталкивает их на поверхность, и тогда они могут сделать головокружительную карьеру от уличной продавщицы бананов до топ-модели мирового уровня и жены миллиардера, улучшив попутно вялую, дистиллированную кастовым отбором кровь.

Катерина была именно из таких самородков, и даже я, чистый мальчик из интеллигентной семьи в третьем поколении (два поколения провинциальных врачей и учителей), был ее недостоин, хотя она и не показывала виду. Это подразумевалось. Вообще, мы мало с ней разговаривали, она не имела чисто женской привычки болтать о незнакомых и совершенно неинтересных мне людях, посвящать в свои несложные мысли или непрерывно рефлексировать по поводу только что увиденного.

Кстати о рефлексии, пора выключить чайник и заварить чаю, если в пачке осталась хоть ложка заварки. Я люблю чай крепкий, терпкий, без сахара, и единственное, чего не умела делать моя мама, так это заваривать чай. Чаем она называла чуть подкрашенный заваркой, но зато щедро подслащенный кипятком, и настоящий чай я впервые попробовал только в Сарай-Бату на археологических раскопках, куда по студенческой поре занесло меня ветром странствий.

Вытряхивая из фольги последние крупные чаинки, я невольно усмехнулся: всю жизнь подтрунивал над мамой за ее прописные истины, а сам все чаще грешу не менее древними литературными штампами. Но что делать, если вот уже тысячи лет сменяют друг друга сотни тысяч человек, думая при этом, что у каждого неповторимый набор хромосом и неповторимая судьба, а на поверку оказывается, что все повторено те же тысячи раз. Слова не поспевают за развитием цивилизации, мы изобретаем новые, наполняем их смыслом, привыкаем, забываем или стираем до неузнаваемости частым употреблением. Я, кстати, к новым словам всегда относился с недоверием, и даже в юности отличался в компании сверстников архаичностью и книжностью речи. Сверстники дразнили, взрослые поражались или восхищались, мне моя речь затрудняла подростковое бытие. Зато в студенчестве я отыгрался, был звездой в группе, любимчиком у преподавателей. А вот в газете мою архаичность выкорчевывали жестоко. Здесь уже пришлось подчиняться законам жанра и требованию времени, ежедневно высыпавшего на наши обезумевшие от перемен головы десятки смелых неологизмов, англицизмов и прочих «измов». Как филолог я наблюдал эти процессы с неослабеваемым интересом, как культурный человек ужасался, а как журналист обязан был активно использовать. Чтобы соответствовать времени было легче, я нашел промежуточный вариант, скрывшись под псевдонимом Е. Старик, и читатели искренне полагали, что Е. Старик действительно нудный и язвительный старикашка, писали ему гневные письма или приходили в редакцию поспорить.

Я налил в чашку немного заварки и присел к столу. Интересно, чем мама оттирала чашки — они всегда сияли у нее первозданной фарфоровой белизной, а теперь, покрытые несмываемым бежевым налетом, все похоже на замызганных цыганят у вокзала. Но, потягивая терпкую

горячую жидкость, я опять увлекся, выискивая в образе Кэт все новые и новые кошачьи черты.

Имя Кэт она произнесла сама, в третий или четвертый свой приход, как-то между делом, и я не воспротивился, не уловил претенциозности в этом имени, но называл ее так редко, в минуты безмятежного удовлетворения или мимоходом, отвлекая от внезапно налетевшей на девушку задумчивости. Мы мало общались в том смысле, в каком принято общаться между любовниками, но и назвать наши встречи простой связью у меня не повернулся бы язык. Она приходила в мою жизнь, как приходит теперь эта странная кошка, не изменяя внешнего течения обыденности, но нарушая моих планов, но непостижимым образом влияя на глубинные процессы бытия.

Я сопротивлялся. Иногда грубил, иногда принимал, как погоду за окном, то есть с пониманием неизбежности и неизменяемости от моих эмоций. Впрочем, она не была назойливой, и даже существуя какой-то отрезок времени в моем доме, не вторгалась в суть домашнего бытия, не нагружая даже косвенно какими-либо обязательствами по отношению к ней. Заниматься с ней любовью было одно удовольствие. Даже будучи усталым, раздраженным или погруженным в свои проблемы, я легко отрывался ото всего, что мешало интиму, чтобы потом так же легко вернуться к прерванной нити размышлений или переживаний. Такая любовница — мечта всех одиноких мужчин, не желающих связывать себя сложными и долгими отношениями, и такая связь может тянуться годами, превращаясь в привычку.

Она обожала купаться в ванной, и мама при моем молчаливом согласии завела ей отдельное полотенце и покупала шампунь для ее пышных темных волос, которые не портила даже неистребимая простонародная любовь к химической завивке. Сидя после ванной в моем кресле с поджатыми ногами, она часами молчаливо возилась со своими ноготками, холила и чистила, «точила коготки». Иногда, если мне некуда было утром спешить, я становился свидетелем процесса макияжа, который длился сосредоточенно и неторопливо, давая и мне возможность рассматривать ее так же неторопливо, ловить грациозные ракурсы и понимать, почему великосветские красавицы прошлого позволяли присутствовать мужчинам при совершении туалета в качестве особой милости. Но краситься при мне она стала не сразу, воспринимая, видимо, это как глубоко интимный процесс, и потому поначалу прячась в ванной.

Я подозревал, что с мамой она вела какие-то беседы, но, по-видимому, и мама знала о ней немного, даже тактика постепенного приручения ей не помогала. Кэт не хотела приручаться, отстаивая свою независимость деликатно, но оттого не менее решительно, именно как кошка, надумавшая посетить наш дом, но не собирающаяся здесь жить.

Мои ассоциации грешили скудостью. Я слишком мало знал об этих животных, и, не имея возможности видеть их ежедневно, собрал лишь опыт случайных наблюдений. К тому же, зная их болезненное влияние на мое здоровье (я панически боялся приступов аллергической астмы, которая с возрастом ослабела, но оставила по себе ужасную память), я относился к ним осторожно, хотя и доброжелательно, никогда не обижал, но и не гладил.

Любил ли я Кэт? Нет, это я и тогда знал определенно, и теперь могу сказать с уверенностью. Она волновала меня, это правда, оставляла сладостные воспоминания, которые так хороши в утренних грезах, но я ее не любил и в будущем своем не отводил ей даже крошечного уголка, полагая, что она исчезнет из моей жизни так же легко и неожиданно, как возникла.

Любила ли она меня? Тогда я предпочитал не задумываться над этим вопросом, а теперь, спустя годы, могу так же уверенно, как про себя, сказать, что нет. Почему тогда она приходила ко мне по одному ей известному графику, если такой график вообще был? Порой у меня возни-

кала циничная мысль, что ей просто негде переночевать, и она приходит ко мне, платая любовью за ночлег. Но, видимо, почувствовав то ли во взгляде, то ли в интонации эту догадку, Кэт однажды исчезла надолго, так надолго, что я успел даже соскучиться и забеспокоиться. Забеспокоилась и мама, уже привыкшая к необъяснимым появлениям моей подруги (так она называла Кэт, заменяя иногда в разговоре этим выражением слишком уж домашнее «Катя», если спохватывалась, что уже почти ввела девушку в семью). Но не успела мама спросить меня утром за завтраком об исчезновении Кэт, а я — проанализировать свои чувства на этот счет, как вечером кресло к моему приходу уже было занято, и я помню, как удивило меня чувство тихого удовлетворения, разлившееся в тот вечер по нашей квартире.

Мы начали привыкать к девушке, и, ничего не зная о ней, пытались додумать, каждый свое, о том, чего не знали. Обычно мама высказывала свои догадки в форме вывода из какого-то якобы известного ей факта за утренними завтраками (и на пенсии она вставала ежедневно раньше меня, чтобы приготовить завтрак, даже если я, отправляясь в командировку, уходил из дома в несусветную рань). Например, она говорила:

— Чему ты удивляешься, если учесть, что Катя домашняя девочка, ее эта двусмысленность тяготит. — Хотя я ничему не удивлялся и о «домашней девочке» слышал впервые от мамы. Или:

— У твоей подруги что-то случилось, может быть, какие-то проблемы с работой, сейчас молодежи так трудно найти работу. А все эти киоски так опасны, девочку легко можно обидеть. — И я фыркал в ответ:

— Такую обидишь!

Мама тут же бросалась защищать:

— Костя, ты неправ, Катя только кажется независимой, просто она такая затаенная, но легко ранимая.

Я не спорил с ней, но порой, поддавшись соблазну, тоже начинал фантазировать и даже давал себе слово спросить кое о чем у девушки при встрече, но она возникала всякий раз так неожиданно, что все вопросы забывались сами собой. Правда, была пара попыток. Однажды я посадил ее к себе на колени и предложил полусхутя:

— Кэт, давай завтра проведем день вместе. Тебе ведь не на работу?

— Не выйдет, — ответила она не задумываясь, а когда я решил было настоять на своем, высвободилась из моих объятий, с легким раздражением бросив:

— Тебе делать завтра нечего? Позвони Гоше, с ним пиво пить на Откосе клево.

— Откуда ты знаешь, пила уже? — зацепился я в предвкушении чего-то, но Кэт оборвала:

— Иди ты...

Продолжать я не решился, не в последнюю очередь из-за природной мягкости, ненавидя любые даже шуточные разборки, а Кэт голосом дала понять, что шутить не намерена, и разборка может случиться крутая. В другой раз, играясь с ней в постели, я прижал к подушке узкие плечи и, тряхнув пару раз, грозно спросил:

— Признавайся, кто он?!

— Кто? — явно не поняла Кэт, но вдруг, засмеявшись так, что ее плечи задрожали под моими ладонями, ответила:

— Ты в зоопарке был? Я в Москве один раз была. Там обезьяна большая сетку в своей клетке трясет, у тебя похоже получается.

И в этот раз я смалодушничал, сравнение с обезьяной выглядело двусмысленно, и я предпочел смысл явный, продолжив изображать из себя Кинг-Конга в постели. Мы повеселились вдоволь, и больше я к попыткам что-то выяснить не возвращался, интуитивно оберегая себя от неприятностей, что, видимо, устраивало и девушку.

Сколько продолжалась наша связь? Я задумался, постукивая по зубам краем чашки и уставясь в окно. Если вспоминать по моим переходам из

редакции в редакцию, совершавшимся в среднем раз в год (мне становилось скучно, назревали невыясненные конфликты, задерживалась зарплата), то где-то года два. Или чуть больше. То есть я с трудом, но могу вспомнить, что Катя приходила ко мне и в чем-то зимнем, хотя всегда казалось, что на дворе вечная хлипкая осень. Если дверь навстречу ей открывал я, Катя всегда представляла передо мной какая-то съезженная, но без шапки — ей пышные волосы, изредка скрепленные на затылке какой-нибудь крупной дешевой заколкой, заменяли похожие, все виды головных уборов, придуманных человечеством. Глянув настороженно, она бросала свой «привет» и проходила, снимая ремешок сумочки с плеча, секунду прислушивалась к звукам квартиры, спрашивала: «Не помещаю?» И уже после этого протягивала руки мне на плечи, жмурилась и целовала вскользь, мол, погоди, самое интересное будет потом.

Однажды, провозжая утром Кэт, я спросил:

— Зачем я тебе нужен?

— Кто сказал, что ты мне нужен? — парировала она и как всегда стремительно исчезла за поворотом лестницы. Я был обескуражен и... обижен, но через неделю она снова целовала меня в прихожей, и я तोпился помочь ей раздеться, спросить, не голодна ли. Девушка отогрела ледяные (всегда при встрече ледяные) пальцы, хорошела на глазах, ускользала в ванную, и я улыбался в предвкушении.

Только однажды я видел ее плачущей. Кажется, это было опять осенью, во всяком случае, ее неизменная «косуха» блестела от дождя, волосы были покрыты диademой мельчайших капель воды, а лицо — да, оно определенно было заплакано. Катя как-то жалась к стене подъезда, и я подумал на миг — не пьяна ли? Но она легко отделилась от стенки, без привета зашла и едва двигающимися губами сказала:

— Прости, я сначала в ванну.

Я растерялся и взволновался, на меня явственно пахло бедой, какой-то неустроенной, но тщательно скрываемой жизнью, я, помню, засуетился, побежал к маме в комнату (она читала в постели на сон грядущий), растерянно пробормотал:

— Она плачет, что делать, мам?

Мама быстро отложила книгу и, накинув на ночную сорочку халат, заспешила в прихожую, а я трусливо остался, сел на теплую от маминого тела постель и вытянул шею, прислушиваясь. Мама вернулась, пожимая плечами:

— Костя, ты что-то придумываешь. Катя в ванной, я ее окликнула, голос у нее хороший, веселый.

— Мам, но у нее тушь по всему лицу текла, и губы еле шевелились!

— Ничего удивительного, посмотри, какой дождь. Я всегда Кате говорю, что привычка ходить с непокрытой головой плохо кончится для ее здоровья. У меня были случаи...

В тот момент мамины случаи меня не интересовали, я успокоился и поцеловал ее в щеку.

— Ладно, мам, значит, мне показалось.

Но, уйдя в свою комнату, я все же не стал разбирать постель, а настороженно уселся в кресло, закинув ногу на ногу. Кэт появилась как всегда, сдержанно улыбаясь, в моем махровом халате и с полотенечным тюрбаном на голове. Подошла, оперлась коленкой о ручку кресла и произнесла свой неподражаемый «привет». Я ни о чем не спросил, уверяя себя тем, что все равно не ответит, а на самом деле не желая никаких ответов. Киска здесь, она теплая и пушистая, веселая и спокойная, вымытые глазки слегка покраснели от попавшей в них туши, а губы нежные и пухлые, какими они и должны быть у восемнадцатилетней или около того девушки. Чего еще нужно в такой миг спрашивать?

А потом она исчезла. Да, она ушла как обычно, обронив свое легкое «пока» и скрывшись за поворотом лестницы в подъезде. И я не беспокоился, привыкнув к ее внезапным и долгим — до месяца — отсутствиям,

да и редакционная суета не давала особо задуматься, вспомнить, побеспокоиться.

Первой забеспокоилась мама. Как-то утром положив на тарелку два румяных сырника и аккуратно тряхнув на верхний ложечку сметаны, она поставила тарелку передо мной и со вздохом произнесла:

— Кате очень нравились мои сырники. Костя, мне, конечно, неудобно спрашивать, но мне кажется, что с девочкой могло что-то случиться. Тебе не кажется?

— С чего ты взяла, мам? Она что-то тебе рассказала? Ты что-то узнала от кого-то?

Мама замялась, присела на краешек табуретки, затеребила пальцами воротник своего халата и привычно глянула в окно.

— Нет, я ничего не узнала. Но она не появляется уже больше двух месяцев. Раньше она никогда так надолго не пропадала. Жаль, что она не оставила нам своего номера телефона.

— Мама! Ты говоришь с таким сожалением, как о родной дочери!

И тут мама глянула на меня тем прямым и строгим взглядом, которым глядела порой на молодую нерадивую мамашу, не понимающую, насколько серьезно больно ее дитя.

— Во-первых, сын, она приходит в наш дом уже почти два года, и я действительно успела к ней привыкнуть. Да, Катя мне не чужая девочка. Во-вторых, она хорошая девочка, несмотря на трудную судьбу. И возможно, она могла бы стать тебе надежной спутницей жизни. Тем более что я не вечна.

Я растерялся. Я вскочил и обнял свою маму, испуганно приговаривая «Мама, что ты такое говоришь!», я заглядывал ей в глаза и встречал спокойный и прямой взгляд этих серо-голубых глаз в обрамлении коротких подрагивающих ресниц. Мама молчала. Она считала, что и так перешла черту, она не хотела продолжать разговор, видя, что напугала меня вместо того, чтобы заставить задуматься. Да, я тогда смалодушничал. Поцеловал маму в голову, быстро собрался и быстро ушел, и впервые в жизни обрадовался метели, которая хлестала меня в лицо, заставляя жмуриться и отворачиваться, потому что прямо смотреть и что-то решать я не мог и не хотел.

А в нашем доме по вечерам стало вдруг тихо и молчаливо. Странно, ведь и раньше мама по вечерам, наведя безупречный порядок на кухне, уходила в свою комнату, чтобы под любимой лампой-бра перечитывать любимые книги или вязать пестрые носки. Но теперь она уходила как-то устало и грустно, и если я заглядывал к ней в комнату, она сразу откладывала книгу или вязание и чуть хлопнув ладонью по краю постели, просила:

— Присядь, сынок.

Я повиновался, приученный с детства, что за этим последует серьезный разговор или хозяйственное поручение на завтра, но мама просто сидела и смотрела на меня, положив свою мягкую руку на мою коленку или дотрагиваясь пальцами до рукава рубашки. Потом, подавив вздох, говорила: «Ничего, это я так». И я, пожав плечами, уходил, пожелав ей спокойной ночи.

А мамино предчувствие ее не обмануло.

Я уже выливал почти черную воду из пластмассового тазика, гордо поглядывая в открытую дверь туалета на блестящие доски пола в прихожей. Я отмыл эти доски до первородной желтизны в тех местах, где от многолетних шарканий с них слезла коричневая масляная краска, бросил перед входной дверью насухо выжатую тряпку и теперь мог любоваться этой чистотой, нисколько не смущаясь ни облезлым полом, ни рваной тряпкой. Главное — чисто. Как у мамы. Я вздохнул. Засунул тазик за унитаз (до унитаза очередь дойдет в другой раз, а пока пусть потерпит) и двинулся на кухню. Темнело. Чиркнула спичка, пыхнул и тихо засвистел газ под чайником, мысли в голове затихали, я прислушивался

теперь не столько к ним, сколько к своему телу, к его усталости. Конечно, я привык к физическому труду, убирать каждый день в любую погоду участок — не шутка. Но генералить в запущенной двухкомнатной квартире — тоже та еще нагрузка. Лечебная. Лечебная физкультура для тела и души. Для души, которая не может смириться с утратой, но уже ищет себе заполнения, осознает, что пора наполниться, чтобы не звенеть пустотой библейской, кимвальной. Готов ли я к этому заполнению, и чем заполню? Или ко мне вечно будет приходить эта черная кошка, моя бездомная кошка, или она исчезнет однажды так же, как исчезла из моей жизни Кэт, Катя, Котенок мой.

Я растерянно и смущенно пожал плечами. До чего одиночество доводит, вот уже и Катя превратилась в котенка... Давно ли я стал сентиментальным? Но я не успел усмехнуться. В дверь позвонили. Резко и быстро. Один раз. Я вздрогнул и вскочил со своей табуретки. Так мои дружки не звонили, они жали кнопку долгим и тяжелым жимом, требуя открыть дверь немедленно и обязательно. Я прислушался. Повторного звонка не было, но я рванул в прихожую, боясь только одного — не ослышался ли? Дрожащими от нетерпения руками я крутил свой тяжелый неповоротливый замок, с отчаянием налегая на дверь плечом, потом я распахнул эту тяжелую, обитую дерматином дверь, боясь только одного: что за дверью никого не будет.

— Привет.

Она стояла передо мной, с волосами, усыпанными мелкими бисеринками дождя, в какой-то серой пухлой курточке и заглядывала снизу вверх. Она не улыбалась, просто смотрела и, наконец, спросила:

— Можно войти?

— Господи, да конечно, Катя, бездомный ты мой котенок, конечно, можно, нужно даже, — я бормотал эти слова уже в ее волосы, прижимая всю ее небольшую фигурку к себе, приподымая от пола и покачивая в воздухе.

— Пусти, мне больно. И вовсе я не бездомная. Очень даже домашняя. Сам увидишь.

Она улыбнулась и прошла в прихожую. Сняла с плеча сумочку и поставила на скамейку в прихожей. Чиркнула молнией куртки и повернулась ко мне спиной, слегка стряхнув куртку с плеч, а я охотно и старательно подхватил невесомую пухлость. Увижу. Сам увижу. Хочу увидеть. Домашняя ты моя.

МОДЕРН НА ПРОВИАНТСКОЙ

Я хожу мимо этого дома много лет. Впервые он привлек мое внимание весной лет пятнадцать назад обвалившейся штукатуркой на цоколе, из-под которой безобразно торчали черные куски обугленных деревяшек, видимо, замешанных в штукатурку для крепости. Подняв глаза выше, я увидела огромные четырехстворчатые окна в черных от времени бревенчатых стенах с наличниками в форме выступающего короба на двух небольших консолях. Удивилась и запомнила это здание. Потом несколько лет ходила мимо, привычно окидывая взглядом ветшающий фасад, отмечая все большие разрушения, обнажавшие цоколь, и желание заглянуть внутрь дома крепло. Останавливало лишь опасение, обычное в таких случаях: как посмотрят жильцы на любопытного, заглянувшего неизвестно для каких целей в подъезд?

Однажды я все-таки зашла во двор, чтобы увидеть здание с другой стороны. Дело было летом, и неприхотливая городская зелень, все эти американские клены и лопухи, прятала следы разрухи, царившей в запущенном и захламенном двореке, в который выходили подъезды и окна еще двух кирпичных пристроек, не менее древних, чем бревен-

чатое двухэтажное здание, глядевшее на улицу Провиантскую. Задняя часть дома выглядела еще интереснее, чем фасад. Обнаружились эркеры с высокими окнами и остатками зеленых цветных стекол на втором этаже, форма этих окон, тоже в современном стиле, отличалась от формы фасадных. Фанера, забитая вместо стекол, торчащие там и сям трубы и разнокалиберные оконные рамы, сиявшие желтизной свежей столярки, говорили о хаотичной деятельности многочисленных жильцов, в меру своего достатка укрепляющих и благоустраивающих свое ветхое обиталище. Земля вокруг дома была завалена битым шифером, а посреди скошенного на треугольник двора круглился штукатурный бортик фонтана, засыпанного землей и засаженного пучками лилий. Фасад одной из пристроек смотрелся самостоятельным зданием из двух с половиной этажей, с тщательной краснокирпичной кладкой и мезонином, его архитектурный стиль можно было бы охарактеризовать как классический, но скругленные верхние углы оконных проемов и четырехстворчатые рамы носили привкус модерна. Он казался ровесником бревенчатого соседа. Возможно, в молодости он имел штукатурку с современным декором, которую потом сбили, или она осыпалась, обнажив мастерство каменщиков, отчего облик его приобрел некую классическую строгость, как греческие мраморные статуи после того, как их выбелило время. Справа и слева тянулись деревянные стены с окнами и галереями по второму этажу.

Но и тогда я не рискнула долго изучать заинтересовавший меня дом, все чудились настоженные взгляды из-за тюлевых занавесок. Ковырнув носком туфли булыжину, замурованную в бедную городскую землю — остаток мостовой позапрошлого века, я вернулась на улицу и привычно скользнула взглядом по цоколю — штукатурка почти полностью осыпалась, из сероватой известковой основы выпирали обугленные чурки, еще грубее подчеркивая унылое запустение. Но стекла высоких окон сияли неровной, присущей только старинным стеклам поверхностью, за которой угадывалось таинственное и глубокое пространство комнат. Чистота стекол, горшки с цветами на широких подоконниках и турецкий тюль с восточной пышностью орнамента говорили о скромном, но устойчивом достатке обитателей. Однако соседство новорусских особняков, отделанных облицовкой из бессер-кирпича, наводило на мысли о скорой гибели современного старца, благородного и обветшалого как дворянин после революции.

И все же я рискнула заглянуть в этот дом, чтобы увидеть его внутреннее пространство. К этому подтолкнул казался бы незначительный эпизод — в беседе с известной нижегородской журналисткой Тамарой Ябуровой была затронута тема модерна, его особой прелести, несколько жеманной, но привлекающей к себе графической чистотой линий и волнующей романтичностью сюжетов. Ябурова показала картинку: в широкой постели молодая дама читает некую книжицу. С этой встречи я уходила вниз по Провиантской, разыскивая вокруг себя весенние приметы, так поднимающие настроение. Знакомый дом привлек внимание широко открытой парадной дверью. Он будто приглашал зайти, просил не бояться подозрительных жильцов. «В конце концов, всегда можно сказать, что ошиблась и забрела сюда случайно», — подумала я и шагнула по сбитым ступеням вверх..

Пол подъезда оказался выложен мелкой метлахской плиткой с характерным геометрическим орнаментом в три цвета: белый, черный и бежевый. Во многих старинных домах Нижнего Новгорода сохранились такие полы, плитку для них привозили из Италии и Германии, но на некоторых можно различить инициалы и русских производителей. Эти полы отличает особая прочность и тщательность набора, от них веет той самой основательной и благополучной Европой, которую мы видим на полотнах итальянских и нидерландских живописцев. Время с трудом выбивает из ритмичного орнамента этих полов фрагменты, чтобы заме-

нить их грубой разномастной советской плиткой, кое-как ляпнутой на цементную стяжку, или серыми лакунами бетона. Но даже изувеченные, они, как римские мозаики, продолжают напоминать об иной цивилизации, и, зашарканные тысячами подошв, все еще хранят легкие следы ее патрициев.

Стены парадного подъезда украшал характерный модернистский рельеф с картушами, замазанный многолетними слоями масляной краски и оттого оплывший, потерявший графическую четкость своих плавных линий. Высокая двустворчатая дверь приглашала налево, а чугунная вязь перил каменной лестницы — наверх.. Мельком оглядев разномастные стекла ведущей налево двери, я пообещала ей вернуться и медленно стала подниматься на второй этаж. На синей масляной краске стен чернели кривые буквы фломастерных граффити, черная же городская пыль припудрила стену и проявила мельчайшие неровности, стекла окон мутно и скупо пропускали свет в лестничный пролет. В обоих окнах, расположенных на верхней площадке, сохранилось по два изумрудных квадратика — остатки бывшего остекления, прочие части переплета заполняли прямоугольники гладкого промышленного стекла и ребристые от сырости куски фанеры. На сером железе двухметрового сейфа возле одного из окон тем же фломастером было написано предложение убрать громадину, с грубым и недвусмысленным обещанием наказать за неисполнение.

Потолки второго этажа оказались ниже, впрочем, так и было принято строить вплоть до революций 17 года, и вполне оправдывалось климатом. На верхних этажах располагались обычно жилые комнаты, и в отличие от парадных, здесь стремились к теплу и уюту, к тому, чтобы помещение можно было легко протопить и не терять тепло печей под высокими потолками, заимствованными из архитектуры Италии и Франции. Двустворчатая дверь того же дизайна, что и внизу, говорила о принадлежности первоначальному интерьеру, в ее переплете едва ли треть стекол можно было назвать «родными», но и это изумляло своей сохранностью. Неровная мелковолнистая поверхность палевых стекол заплыла потеками масляной краски, и его естественный цвет угадывался лишь на одном — крайнем справа, почему-то оно не было покрашено в свое время, возможно для того, чтобы пропускать свет в недлинный, но темный коридор. Я тронула пальцами рельеф стекла, пытаюсь представить себе, как оно сияло сто с лишним лет назад, дробя свет входивших в моду электрических лампочек.. Вместо выбитых собратьев были вставлены обычные промышленные стекла, но и они кое-где отсутствовали. Под потолком висел электрический шнур с парой патронов и ввинченными в них лампочками. Это чудо экономии (чтобы горящие вполнакала лампы реже перегорали) всегда вызывает у меня брезгливую ассоциацию с мужским детородным органом, к тому же лампочки в нем действительно перегорают редко и потому успевают покрыться плотным налетом приварившейся к стеклу пыли, отчего вызывают еще большую брезгливость.

Я осторожно открыла одну створку и шагнула в коридор. Обычный коммунальный коридор со всеми его атрибутами: ящиками, самодельными шкафами, половиками и помойными ведрами возле расположенных друг против друга дверей. Сразу направо открывался проем темного помещения, в котором ближе к двери стояли кухонные столы эпохи послевоенных коммуналок, глубину небольшой квадратной комнаты слабо освещало голубое пламя вывернутой на полную мощь газовой горелки на старенькой четырехконфорочной плите. Я шагнула было в кухню, но слева у стены на сундуке (или лавке?) кто-то заворочался, и я отшатнулась, даже не пытаюсь разглядеть, кто там. Встреча с бомжем, — а скорее всего это был бомж, гревшийся у дарового огня коммунальной плиты, — не привлекала, и я, скользнув опять на лестничную площадку, торопливо спустилась вниз.

Вернулась к высоченной, в четыре метра, двери первого этажа, я задержалась и опасливо заглянула в коридор сквозь одно из «советских» стекол. Этот коридор был освещен дневным светом с противоположной стороны и не казался таким же угрожающим, как его собрат на втором этаже, поэтому я ступила в него смелее. Его высокий прямой потолок был разграфлен неглубокими прямоугольными кессонами, зарифмованными в общем для здания модерновом стиле, тогда как потолок парадного подъезда выгибался двумя кирпичными сводами, характерными для межэтажных перекрытий всего 19 столетия: они уложены на параллельно идущие чугунные балки и напоминают перевернутую вниз головой поверхность реки с крутой равномерной волной. Этот коридор был почти пуст, если не считать канцелярского шкафа сталинской эпохи со сломанными дверцами, на полках которого стояли трехлитровые банки с белым порошком (известка, мел или сода — не разобрать сквозь затянутое пылью голубоватое стекло). Я прошла вперед, к источнику тусклого дневного света. Им оказалась двойная двустворчатая дверь, неплотно прикрытая. Но входом, похоже, не пользовались — между дверями был навален хлам и наложены кирпичи, стекла почернели от многолетней грязи в лучших традициях Достоевщины. Отсюда шла наверх лестница со скромными перилами, и я сделала вывод, что это был типичный черный ход для прислуги и незаметных отлучек из дома. Но подниматься по лестнице не хотелось, верхний коридор продолжал пугать темнотой и возможностью неприятных встреч.

Я обернулась и посмотрела на пол — теперь он привлек мое внимание. Кое-где он хранил остатки дубового паркета, но широкие короткие паркетины обрывались зигзагом, обнажая добротные половицы перекрытия, а немного дальше на них лежал деревянный щит, видимо, прикрывая прогнившую дыру, потом опять тянулись половицы, а за ними опять прочный грубый щит. И все эти слои сливались в одном темно-сером цвете затоптанного многолетней грязью дерева, отчего трудно было понять — что старше, что новее. Возможно, этот пол иногда мели, потому что особого мусора не наблюдалось, но, скорее всего, давно не мыли, и дубовые паркетины не сохранили даже следа мастики или лака, они лишь слабо отсвечивали тисненой структурой своих волокон.

Затем я принялась разглядывать двери, пытаюсь найти среди них «родную». Первая от черного хода дверь была явным новоделом: из толстого стального листа, укрепленного простоватым орнаментом сварной арматуры, выкрашенная черной краской, она тупо преграждала путь в жилище хозяина. Дверь была не выше двух метров, и верхняя часть дверного проема наглухо закрывалась железом такого же «новорусского» дизайна. Напротив располагалась дверь попроще, но тоже современная, и здесь верхняя часть проема была заделана неподвижным щитом.

Вторая пара дверей обрадовала, как долгожданная встреча с хорошим знакомым — высокие, в две створки, с рельефом и медными ручками, хранившие на своей поверхности потемневший и обшарпанный лак, они, несомненно, помнили иные времена. И, возможно, именно их тяжелые створки приоткрывали те кокетливые дамочки из современной эпохи, все в легких муслиновых и батистовых одеяниях, дыша духами и туманами, кружа головы поэтам и художникам. Их сыновья в матросках топали крепкими ножками в высоких кожаных ботинках по натертому до блеска паркету, служанки в белоснежных передниках несли на подносе горячее молоко в серебряной чашке, в то время как хозяин в узких брюках и длинном пиджаке лениво поглядывал в приоткрытую дверь, сидя в кресле с газетой.

Я подошла ближе, желая коснуться дверной ручки, и опешила: из-под двери безобразной гемморройной шишкой торчало колено унитазной канализации. Дверь напротив вместо бронзовой ручки предлагала руке посетителя серийное скобяное изделие неопределенной эпохи, нечто «застойное» и явно недостойное ее возвышенного и одновременно строго-

го облика. Следующая пара дверей прятала свое прошлое под обшарпанным дерматином, ровесником канцелярского шкафа, и я торопливо прошла мимо них, как проходят мимо нищих, не желая подавать милостыню.

Я вернулась к двери у входа в коридор и осмотрела ее стекла. Узкая пластинка в левом нижнем углу несла на себе нежный орнамент из стилизованных лилий, прозрачных на матово-белом фоне. Ты оттуда? — спросила я ее и тронула матовую поверхность пальцами. Стекло дрогнуло, едва удерживаемое в переплете парой гвоздиков, и я почему-то обрадовалась. Ты оттуда, — подтвердила я вслух, вздохнула облегченно и, окинув напоследок потолок и лестницу, вышла на улицу под накрапывающий (первый весенний!) дождик.

Теперь я редко хожу той улицей, мои маршруты после переезда за реку пролегают в других местах. Но иногда я заворачиваю на тихую улочку и с тревожным изумлением наблюдаю невероятно быстрые перемены. Новые здания подминают ветхие домишки, те сопротивляются как могут, но понятно даже торопливому прохожему, что их дни сочтены. Но мой современный старик еще жив, держится. Может быть, его спасают до поры жильцы: изъедая старца изнутри как древоточцы, они отпугивают мелких инвесторов перспективой необъятного расселения: здесь в каждой квартире прописано не меньше чем по десять человек, и каждый будет претендовать на отдельную квартиру. Но его дни, я думаю, тоже сочтены. Когда-нибудь придет сюда богатый инвестор, которому очень понравится место, и он не постоит за издержками. Что вырастет на месте сломанного дома? Может быть, таких же размеров особняк — это было бы не худшим вариантом. Но, скорее всего, здесь появится «элитный» дом, со всеми атрибутами элитности кроме главного — добротности и прочности постройки. Выстроенный из бетонных блоков с силикатным кирпичом в простенках, утепленный каким-нибудь дешевым пенолом, он спрячет свое конструктивное убожество под штукатуркой или «бессером», обвесится тонированными или блестящими стеклами крытых лоджий, закроет двор высокой решеткой с приземистой будкой вахтера. Первые лет тридцать он еще будет привлекать внимание прохожих, но что будет, когда штукатурка осыплется, а «бессер» закоптится?

Мне неинтересно об этом думать. Мне хочется только одного: успеть прийти. Прийти, когда экскаватор начнет рушить кости старца. Я хотела бы унести на память о его эпохе, той самой, в которую до смерти нежно и обреченно был влюблен Набоков, кусочек стекла с прозрачными лилиями по белому матовому полю. Сквозь него, как сквозь магический кристалл я увижу самые прекрасные грезы модерна. Никакая виртуальность не сотворит такого чуда. Вот только бы успеть...

Николай Филиппович Филатов в своей книге «Энциклопедия Нижегородского края» посвятил этому дому (если это он), всего несколько строк. Дом принадлежал некому англичанину, который в 1904 году вознамерился пристроить к нему кирпичный флигель. Но по каким-то причинам ему удалось пристроить только двухэтажный подъезд и двухэтажный же пристрой на высоком цоколе в стиле модерн. Тогда же, скорее всего, был произведен и ремонт более старого деревянного здания. Когда был построен основной дом, Филатов не указывает, видимо, не найдя соответствующих документов.